
Ливень с тою же косиной в лице, что и туземцы Китая,
вывернул из-за угла, встрепенул ветки и по наклонной
двинул, бомбя витрины, к центру, перепрыгивая и пролетая
через проулки и над кровлями, огибая липы и клёны.

Здесь всегда переосень или недозима, катаракта луж, и
зеро отражений в них, на боках авто – только рефлексы света;
зеркало в коридоре тебе ужаснулось, как некогда милый Лужин
миру вокруг, но нежных уродств не снёс и не благодарил за это.

Сидишь у окна, сигарета от вида пейзажа сыреет; в доме
что-то потрескивает без конца, и к вечеру длинная кошка
снова становится круглым филином, и нет никого здесь, кроме
нас да былых и нажитых призраков, тоже живущих немножко.

В парке детские вопли, собаки, старухи – по расписанию,
одне только кряквы или нырки, словом – утки как фриланс и
свобода плавать и в клювы дудеть; и в эту зиму лыжи и сани
никто не расчехлит; и «под Вертинского» проноют романсы

во фрамугах унылые зюйды зимы; скоро по всей округе,
по околотку, волости и в небесах ангелы из энерго потушат
светильники, чтобы нам горевать прицельнее о подруге,
лаская вместо неё кружку с виски, и быть тонущими на суше.

Болтливая тишина дачных садов, когда,
поверх скрипа кровати в «шарах», слышать,
как, не тороясь, сама себя моет вода,
на ночь меняя черты побережья; и в хате

кисло примусом пахнет, и косами чеснока
увешаны стены, и где-то, невидим и тих,
ластится кот у кресла, и призрачная рука
беззвучно подтянет вам одеяло до самых сих.

Более трети века тому: запахи, чувства, желанья тогда,
кажется, были иными – объятья сильнее и горше беда;
и зарёванная женщина средних лет, склоняясь у стола
в сарафане, над рюмкой и горкой малины, как сажа бела,

молча ночь вливала в себя, лепеча на понятном ей и коту –
новом теперь – языке потерь, а сад на веранду заглядывал
и утешал как мог, но без интереса к ней и пребывая по ту
сторону жизни и смерти; а утром сосед нес на плече коленвал.

Ведали б мы – я и она – тогда, виляя к морю игривой тропой
на громких из-за звонков великах, что настанет глухой и тупой
час начала войны, и что – среди прочего – память поможет нам
не растеряться в дорожную пыль беженцев, и времена

не переплетать с пространствами, что бывало в те дачные дни;
мы были околицей мира, на стыдном выпасе у судьбы на виду...
Сциллы с Харибдами, вместо ангелов, в небе нынче поют одни,
и на подпевках сирены – в две тысячи двадцать третьем году.

ПРОГУЛКИ БЕЗ МЫСЛЕЙ И СМЫСЛА

В ноябре, куда ни пойти, повсюду листва и скамейка,
и то и другое сыро, и пахнет слежавшимся временем;
так, вода в фонтане Треви – копия неба; прилети, посмей-ка,
шершавый *genius loci* сумерек, это нарушить – отхлещут ремнем

иные рьяные сущности или прочие дроны пространства,
ревнивые ко всему, что не их – ни ныне и никогда потом;
так всё устроено именно для людей – для мнимости постоянства,
а в мире идей и призраков пространство с раскрытым ртом,

словно астматик, втягивает невкусный воздух, ночами
вращая единственным циклопым глазом маячным, шаря
эсминца какого на глади или люльку лодки нечаянной;
и комендантский час как тряпичная кукла на самоваре.

В парке даром что эха нет, эфир тоже пуст, кроме трелей
переговорных систем – от транка до спутниковых терменвоксов,
ангелы просто фонят и трещат, как пеленг, и падшие ариэли
побухивают в тишине и влаге скамей – ни герика вам и ни кокса.

Я честно слоняюсь аллеями и один, без мысли и голоса,
мне диалог не нужен, но если уж человек, то собутыльник –
спокойная, проницательная леди без всяких манер: какие волосы –
не знаю, пусть будут каштановыми; надо бы дать подзатыльник

этому времени частных таений и частных спазмов, страхов
за будущность, каковой не было и до войны; у девочек вырастут груди,
все выбьются в люди, ежели доживут и дотерпят, сменив рубахи
на саваны загодя, и закусив водку грудинкой; и что с нами будет

то даже Бог говорит гадательно, но без особого раздражения,
в отличие от живущих здесь и теперь горожан и деревенских клуш;
что же, врага по запаху серы, собутыльника по перегару; вторжение
продолжается, часы покашливают, соседка бегаёт в душ.

ОДЕССКИЙ ЯНВАРЬ

Тень, сбегав от объекта, осталась одна; в полутьме
слышно, как дышат у вас за стеной всякий раз,
как пропадёт электричество, и рук не видать, и зиме
нечего предьявить, и подсвечивает окно терминатор-«камаз».

Я мог бы даже сказать – динамике звуков следуя – что
снится соседке, а снится ей вестимо одно и то ж:
тема без вариаций, финал; в передней с горя пальто
соскользнуло во мрак и распласталось; стоишь и идёшь

одновременно; в жизни и в доме все косяки твои;
туда же – разбитая бровь, в прошлом – любовь без правил, да
крупных растрат суета; нынче же что из былого не назови, –
одне только думы мнутся, как за полдень тучи, или как провода

висят вдалеке и зря; зато, предприимчивый гололёд
оживляет людские походки, и старушки, особо стремясь,
танцуют негибкий макабр, так и продвигаясь впрыскаду вперёд,
к островку остановки; у них меж лицами есть особая связь.

Ложиться ль спать или вставать слились воедино, смесь
вышла настолько мерзкой, что даже тебе я её не
посоветую, хотя б и как капли, пилюли и прочую взвесь;
виски подглядывает из буфета, и хлеб нарезан, как на войне.

Среди розария и монастырского праха
похожих на шахматы разновременных
надгробий и склепцев, как выгоревшая рубаха,
за париками сирени полощется храм; влюблённых

на скамейке не замечая, доедающих опресноки,
как и колокольни стремительный жест, караваны
двугорбых, и мулов лобастых, и львов толстых набоких,
движутся понемногу к вечеру, меняя рисунок рваный

на фигуративных беременных баб, с подсветкой снизу,
так что щекастых голов не видать идиоту-туристу;
ближе к вечерне слетаются галки, стрижи стерегут карнизы,
а долу валандаются бесцельные кошки с очами искристыми.

Потом затихает всё, и только в автобусах через головы
лезут как-то сразу нетрезвые путешественники, с глазами
навыкате и шаурмой, каплют кетчуп с горчицей, как олово,
и автобус от гвалта словно присел, и опрятный водитель замер.

Это паломники всех возрастов и социально-этнических толков,
вся эта любопытствующая сволочь, любящая – как в анкете –
независимый отдых (all inclusive) и путешествия, верхние полки
поездов и муть мотелей, где нет ничего из того, что на свете

всё-таки есть; даже виски кривой только в маркете «One round»;
ещё вам предложат ребристое мыло, щётку и полотенце...
Монашки как привидения в длинных рубахах не засыпают
сразу, и долго бубнят и хихикают, прежде чем вовсе раздеться.

НАБЛЮДЕНИЯ ЗА БАРОМЕТРОМ

Светлые дали темны. Небесное закулисье
заполнено фонограммой ракет и сирен; продлись я
ещё какое-то время – досмотрел бы конец войны,

напился бы с соседкой, товаркой по общему горю,
мирные облака б наконец вышли к морю
и я перестал быть мостом, разведённым с одной стороны.

Но синхрония пространства и времени унылей «белого шума»,
эфир шебуршит лузгой, и округа глядит не так, чтоб угрюмо,
но настороженно, точно подглядывает за вами.

Как истинный эксгибиционист для вуайериста – в подарок,
раскину шторы, скину исподнее и спляшу гоу-гоу; будет жарок
случайной подруги взор, и торшер будет подмигивать в панаме.

А в окопах друзья и враги успевают подчас тяпнуть по двести,
все визави, как мы и силы небесные, грунт и дёрн на месте,
но местность, как оспой, изрыта взрывами, надо не ссать,

а это тяжело, если над головой, как шмели, жужжат вертолёт
и юркие авиаласточки, проносясь, неизбежно угробят кого-то,
и метеоконус в безветрие – как безветрие или засохшая оса.

Стихи, говорят, бывают сильны на прогнозы, но только не эти;
я не читаю в душах, таро не мечу, клять не даю; на этом свете
всегда и всё можно отменить, кроме любви и смерти.

Это такая правда сейчас и вечности – вновь синхрония –
что и клясться нечем и незачем; многих уже схоронив, я
любовь сложил пополам и спрятал внутри, как в конверте.

РОЖДЕСТВО

Морденты как узелки на веревочке длинной фразы,
несколько вялых дубль-бемолей в поддержку печали;
форточку тронул сквозняк, но приоткрыл не сразу;
в парке скрипели качели и темноту со снежком качали.

Циклон занавесил звезду, запорошил царей с дарами,
колядующие отроковицы в оконной раме мелькнули,
как товарняк вдалеке, шумны и чрезмерны; коты дворами
не шлепаются, где-то сидят и затихли; фонарь стоит на карауле.

Полночь почти, позёмки летит суховей по брусчатке;
что ж так тревожно горюет душа, точно что-то у ней отняли;
и в далёком лесу не пляшут волки и не воют сдуру зайчатки,
одне только совы мониторят пространство в меру печали.

Хорошо, что один: бокастый виски желтеет, брынза потеет,
переживая, что солона и суха, оливки щёки, как дети, надули,
и мандарин ярится, полн, оранжев и кисл в своей простоте, и
что-то ещё в тени на тарелке; и фонарь, как и был, в карауле.

Я не знаю часа рождения, каков вес и рост, цвета глаз не знаю,
и что сказала Мария, и сказала ли, и что ей ответили – тоже;
но мир небывалой наполнился новизной, и прежняя ось земная
чуть накренилась, да так и осталась поныне; и имя Божье

похлеще атомной, преобразило леса и равнины, и даже души,
не склонны к видовым изменениям, не взыскующи прощения;
но и слепой разглядит этот свет, и расслышит отрезавший уши
этот глагол; а остальное – по мере дичания и раскрепощения.

Седативное серое небо брезентом над городом, миром, словно
в палатке живёшь, выбираясь лишь по нужде и за кореньями;
размахивает лучом «летучая мышь», шнапс и сухари поголовно
спят в мешке, и люди редко бубнят молитвы и стихотворения.